

Моя мать смеется

Шанталь Акерман



No Kidding Press

Шанталь Акерман
Моя мать смеется

«ВЕБКНИГА»

2013

Акерман Ш.

Моя мать смеется / Ш. Акерман — «ВЕБКНИГА», 2013

ISBN 978-5-6046450-2-4

В 2013 году мать Шанталь Акерман была тяжело больна. Книга «Моя мать смеется» родилась из практики письма, сопутствующей опыту ухода за больной женщиной. Одевая, кормя и укладывая ее спать, Акерман пишет о семье и детстве, спасении матери из Освенцима, мучительных отношениях с молодой женщиной С. и о страхе перед тем, что случится, когда ее мать действительно умрет. «Моя мать смеется» – квинтэссенция тем, которые Акерман разрабатывала на протяжении всей творческой жизни. Меланхоличный голос Акерман, неизменно внимательный к приватному и лиминальному, фиксирует сырую повседневность и высвечивает ее изнанку, говорит об отчужденности и поиске основания. Книга содержит фотографии из личного архива Шанталь Акерман и кадры из ее фильмов.

ISBN 978-5-6046450-2-4

© Акерман Ш., 2013

© ВЕБКНИГА, 2013

Шанталь Акерман

Моя мать смеется

Chantal Akerman
Ma mère rit

© Editions Mercure de France, 2013

© Инна Кушнарева, перевод, 2021

© No Kidding Press, издание на русском языке, оформление, 2021

* * *



Написала всё это, а теперь мне не нравится то, что написала. Это было раньше, до сломанного плеча, до операции на сердце, до эмболии легких, до того, как мне позвонила сестра или ее муж, чтобы я приехала с ней попрощаться (навечно). До того, как она вернулась к себе в Брюссель навсегда.

До того, как засмеялась.

До того, как я поняла, что, возможно, поняла всё превратно.

До того, как поняла, что видела неполную картину и много чего придумала. И что только на это и была способна. Не способна на правду, едва ли даже на собственную правду.

Сейчас моя мать жива и здорова. Так все говорят, а еще все говорят, что она – сильная, и что никто не понимает, как она только выжила.

У нее всё болит, но волосы отросли. Это просто чудо.

Она немного набрала вес. Она почти научилась жить со сломанным плечом. Хотя ей всё равно нужно помогать одеваться, раздеваться, резать мясо и намазывать маслом тост. Она не может гулять одна, вот это действительно большая жалость. К счастью, есть Клара, живущая у нее на другом конце квартиры, так у каждой есть свой укромный уголок. Клара приехала из Мексики. Она – сестра Патрисии, которая у нее убирается.

На Рождество и на Новый год они устраивают праздник и приглашают мать к себе. Мать говорит, что Рождество и Новый год для нее ничего не значат, но рада, что ее пригласили, у мексиканцев особая атмосфера, а она это обожает. После этих праздников у нее появляется румянец на щеках и глаза блестят.

Она часто смеется посреди своих жалоб. Она получает удовольствие от жизни.

Я слушаю ее смех. Ее смешит всякая ерунда. Эта ерунда – большое дело. Даже по утрам она иногда смеется.

Просыпается уставшей, но все-таки просыпается и начинает свой день.

Я приехала из Нью-Йорка, чтобы побыть с ней несколько дней.

И не знаю, как и почему, но она дает мне просто жить такой, как я есть.

Кажется, мой беспорядок большее ее не смущает. Она как будто его не замечает. Принимает. Принимает меня такой, как есть. Раньше было не так, но с тех пор, как она оказалась при смерти и выжила, она изменилась. Она знает, что важно, а что нет, и принимает меня.

Иногда она еще говорит со мной о моем рождении и о том, что ее молоко мне не подходило, как ее ребенок слабеет у нее на глазах и как это было ужасно. Однажды мне все-таки нашли подходящее молоко. А что было бы, если бы не нашли?

Она смеется.

Мне нравится слушать ее смех.

Она много спит, но смеется. Получает удовольствие от жизни. Потом спит.

Она наконец приняла свой возраст. Знает, что ей надо спать посередине кровати, чтобы ночью не упасть. Знает, что нужно оставить свет в коридоре, который ведет в туалет. Знает, что на другом конце квартиры недалеко от нее кто-то спит, на всякий случай. Она всё это знает и принимает. Ей это нравится. Ей нравится, когда появляется Клара. Ей нравится с ней разговаривать и вместе смеяться. Они похожи на двух подруг, которые сто лет друг друга знают.

Это была идея моей сестры. Она подумала, что мать больше не может жить одна, и Клара приехала в Бельгию вместе с ней, пока что всё идет хорошо.

Она любит мексиканцев, то есть сестру Клары и ее сына, когда они приходят с ней поздороваться и когда они вместе едят. Они душевные и смеются вместе с ней. А это полезно. Так полезно, что она уже не может без них обходиться. Впрочем, она любит, когда к ней приходят люди. Даже сантехник, который пришел на вызов с дочкой. Всю ночь я вычерпывала воду, которая текла от соседей, и этому не было конца. Это было настоящее событие, но даже это событие ей понравилось, хотя она и спрашивала, почему так случилось, говорила себе, что здание стареет, и надеялась, что не будет лишних расходов, ведь денег у нее немного, и если еще придется платить за ремонт, она даже не знает, что будет делать.

Она знает, что может рассчитывать на дочерей, но она этого не любит. Не любит просить. Хочет жить на то, что у нее есть. А это небольшие деньги. Тем не менее она много работала в жизни вместе с моим отцом, но не была оформлена официально. Поэтому она живет на пенсию, которую платят немцы, на пенсию узницы лагерей. А также на доходы от квартиры, которую мне купил отец, чтобы у меня что-то было.

Эту квартиру мы сдаем, для нее это прибавка к пенсии, но небольшая, потому что квартира так себе и сдает она ее дешево.

Когда пришел сантехник с дочерью, ей ужасно понравилась девочка с ее вьющимися волосами. Они были такие красивые, и девочка была спокойная и улыбочивая. Мать угостила ее апельсиновым соком.

Сантехник страшно шумел специальной машинкой для удаления засоров, но всё починил, и мне больше не надо было ковшиком вычерпывать ночью воду.

Сантехник сказал ей, что это могло случиться оттого, что трубы старые. Мать сказала, проживем – увидим. У каждой вещи есть свой срок. Сказала, если это произойдет через десять лет, ее уже не будет, и проблему придется решать моей сестре, потому что я непрактичная. А ведь это я позвонила сантехнику, несмотря на то что было Рождество, и он пришел. Мать засмеялась.



Ей трудно выходить из квартиры. Она почти совсем не выходит, но только об этом и говорит, о том, как выйти на улицу, но на улице темно и сыро, зима. И она знает, что сырость для нее губительна, с ее-то болезнями. Но даже когда погода чуть менее сырая, а это порой случается в Брюсселе в этом декабре, она не выходит. Только на террасу. Она смотрит на унылый сад, который виден с первого этажа, смотрит на кошку, на собаку. Она видит шезлонг, перевернутый ветром, который сносит всё на своем пути. Вдобавок в саду никого нет. Нет детей. Они, вероятно, сидят дома. Весной она снова их увидит и обрадуется им. Она ждет весну и знает, что весна придет и она услышит птиц. Ей нравятся птицы.

Я так не умею. Не умею ждать весну. Я погружаюсь в зиму с ее тяжелыми темными тучами, которые, кажется, так и будут всегда.

Мне кажется, что это конец, но это не конец.

Я не знаю, что буду делать и где буду жить, смогу ли еще куда-то поехать. Но все-таки собираюсь поехать в Париж, в мою квартиру. У меня есть квартира. Там я у себя. Так говорят, у себя.

Но я не чувствую, что у меня есть это «у себя» или какое-то другое место. Место, в котором можно чувствовать себя дома или где-то еще.

Порой я говорю себе, что перееду в гостиницу, это будет мой дом в другом месте, там я смогу писать.

Перечитала всё написанное, и мне ужасно не понравилось. Но что делать, написала же. Вот оно.

Говорю себе, что если переписать, возможно, мне понравится чуть больше. Однако месяцами, когда я ничего не делала, я говорила себе, что сейчас снова начну писать или продолжу, и это будет хорошо.

Мать спит в своем электрическом кресле, как в самолетах. Это великолепное кресло, такие бывают в самолетах в бизнес-классе. Она обожает это кресло и часто в нем спит, так у нее нет ощущения, что она не встает с кровати.

Кровать – это ужасно. В нее стоит лечь только по ночам.

Днем она спит в своем кресле в столовой, и ей кажется, что она еще живет. Звонят в дверь, иногда она слышит, но не всегда, она идет открывать с улыбкой. Она так рада, что услышала, и так рада, что кто-то пришел. К тому же это Андреа, а она ее обожает. Это крупная светловолосая женщина, которая очень любит поговорить. Моя мать тоже очень любит поговорить, поэтому они ладят.

Сегодня пятница, она будет есть рыбу и очень этому радуется.

Да, мелкую камбалу. Она любит мелкую камбалу. Я тоже, но я так не радуюсь и спрашиваю себя почему.

Она радуется, так радуется, что в конце концов я тоже начинаю.

Она говорит, что у мелкой камбалы мясо более нежное, чем у просто камбалы.

Андреа приходит помогать по пятницам, и уже в четверг мать радуется. Думает о мелкой камбале и об Андреа, такой высокой.

Она любит Андреа, ей нравится, как Андреа готовит ей мелкую камбалу с соусом из масла и петрушки.

Она знает об Андреа всё, знает, что у нее двое сыновей, хорошо воспитанных, как она говорит, один даже стал адвокатом. Она знает, что муж Андреа – комиссар полиции и никогда не приносит оружие домой. Не хочет, чтобы его сыновья привыкали к оружию. Не хочет, чтобы они шли работать в полицию, он там чего только не навидался. Моя мать понимает.

Впрочем, она понимает всё или почти всё. И жизнь Андреа ей интересна. Да, ей интересна жизнь людей, которые ей встречаются, и как только ей рассказывают что-то хоть немного смешное, она смеется.

Она смеется с Самирой, с Марией, с Соней, со всеми.

Всех этих женщин называют помощницами по хозяйству.

И моя мать, которая сама почти ничего сделать не может, ни помыться, ни одеться, ни много чего еще, имеет право на помощницу по хозяйству, приходящую каждый день. Они ходят в магазин, готовят обед и моют ее.

Она тихонько входит в ванную и радуется. Хватается за стальной поручень, а помощница проверяет температуру воды, потом потихоньку моет мать душем, и мать довольна, чувствует себя лучше.

Она совершенно не стесняется своей наготы ни перед одной из этих помощниц. К счастью, у моей матери нет этих комплексов, и ее совершенно не смущает, что ее увидят голой. Впрочем, ей волей-неволей пришлось к этому привыкнуть. С моим отцом, который был очень стыдлив, всё было иначе, но и ему пришлось к этому привыкнуть, когда он заболел. Мать – современная женщина, и нагота ее не смущает. Я не хочу сказать, что у нее нет стыда. Есть, но только самый необходимый, не более того. Ее ничего особенно не смущает, тем более нагота. Не скажу, что совсем нет, но иногда у меня возникают вопросы. Я нечто среднее между матерью и отцом, иногда мне стыдно, а потом вдруг нет.

Однажды ни одна из помощниц не пришла, потому что было Рождество. Тогда мне пришлось самой ее мыть.

Ее это тоже совершенно не смутило – стоять передо мной голой. А меня смутило. Ей нравилось, что я ее мою. Мне – нет.

Я помыла ее, и всё. Не сказала ей, что мне было не по себе, а себе сказала, что это не должно меня смущать. Да и так ли это меня смущало? В сущности, не особо. Так, чуть-чуть.

К тому же, когда помощница по хозяйству приходит, то есть все дни, кроме Рождества, она ее намыливает с ног до головы, тихонечко, чтобы не сделать ей больно, и запах мыла ее радует. Она вдыхает его и говорит, что хорошо пахнет. Затем помощница, одна или другая, тихонечко вытирает ее полотенцем и помогает одеться в ее спальне. Только верхние вещи. Нужно натянуть ей пуловер через голову, затем просунуть в рукав руку со сломанным плечом, с другим рукавом она сама справится, ну или почти, ей всё равно помогают. С остальным она справляется и рада этому.

Затем она пытается поднять левую руку при помощи правой, как ей показывал терапевт-кинезиолог. Делает так несколько раз. Ей интересно, не подняла ли она в этот раз руку выше, чем в прошлый, показывает мне и спрашивает, да или нет, я говорю, наверное, да. Но я не знаю.

Она надеется, она думает, что однажды у нее получится, что у нее будет прогресс, пусть небольшой, достаточный, чтобы разрезать свой тост, самостоятельно одеться и раздеться.

Она думает, что в восемьдесят пять лет она еще может достичь прогресса, она действительно так думает, и она старается. И терапевт-кинезиолог всякий раз ее поздравляет. И говорит, что дела идут лучше. Не знаю, действительно ли он так думает, но, во всяком случае, он так говорит. Еще он говорит, что у моей матери очень красивая спина, и она смеется и радуется. Он знает, какие комплименты доставляют удовольствие. Он быстро разобрался в моей матери. Впрочем, она очень гибкая и с помощью упражнений сумела развить мускулы на ногах.

Она прилежно делает упражнения, и терапевт ее подбадривает.

Когда я с ними, он говорит, только посмотрите на эти ноги и на ее спину.

Он говорит, она такая гибкая, словно молодая. Он даже сам не может делать некоторые из своих упражнений, потому что уже не такой гибкий, а ему всего пятьдесят.

Он говорит, что гибкость от рождения, а если ее нет, то необходимо много тренироваться, чтобы ее достичь, а как только бросишь, она тут же исчезнет.

Он показывает матери, какой он не гибкий, и говорит, что матери повезло, она всегда была гибкой, это ее и держит, и меня тоже.

И мать смеется, а после похода к терапевту не перестает повторять, что он ей сказал, и очень довольна. Говорит, я всегда была гибкой, и ты тоже. Я тебе передала свою гибкость. Хоть что-то.

Клара, которая приехала из Мексики, больше всего любит готовить и всегда радуется, когда у матери хотя бы кто-то есть, тогда она делает чуть более сложные блюда. Все ее хвалят и все думают, что матери повезло с Кларой, что так и есть.

К сожалению, иногда, особенно когда я у матери, у Клары случаются долгие мигрени с глазной болью, которые могут длиться до четырех часов. К счастью, есть я, чтобы помочь матери одеться, раздеться, разрезать мясо.

Думаю, Клара специально выбирает момент, когда я у матери, для своих мигреней. Она знает, что я сделаю всё, что нужно. Тут мигрень и начинается.

Мать переживает. Иногда стучит в дверь Клары. Видит ее в постели, спиной к двери. Не видит ее лицо, тогда тихонько закрывает дверь и говорит, что ей нужен покой.

Мать уважает Клару и ее личное пространство. Ей всё время хочется пойти посмотреть, но она сдерживается.

Я говорю, когда ей будет лучше, она встанет, не волнуйся. Она знает, что с ее мигренями чего только ни делали. Мой племянник в Мексике ходил с ней к большому специалисту. Тот прописал лекарства, но ничего не вышло. Мать вспоминает о моем племяннике и смеется. От удовольствия. Она обожает моего племянника.

В постели стонет женщина. Тихие повторяющиеся стоны.

Потом говорит, ну, не знаю, не знаю. Знает ли она, что говорит это вслух? Она глухая. Она, видимо, считает, что думает про себя. Она говорит вслух то, что думает, не зная, что говорит то, что думает.

Так мы, ее дочери, знаем, что она думает.

Она глухая, но не полностью. Некоторые вещи она слышит: дверной звонок и телефон, но она разлюбила телефон, потому что ей всё время приходится угадывать, что ей сказали. Тогда моя сестра подарила ей компьютер, чтобы она пользовалась скайпом, так она видит губы говорящего и понимает лучше. Кроме того, ей нравится нас видеть, это сближает. Она злилась на компьютеры, потому что чувствовала, что она из другого мира, и этот новый мир ее отвергал, но скайпом пользоваться она умеет.

Поэтому она часами сидит перед компьютером на случай, если я или моя сестра подключимся, а когда мы не подключаемся, ее это нервирует, но мы же не можем сидеть в сети весь день. Не можем.

Но со скайпом она хотя бы лучше слышит. Потому что видит. Но она не слышит, как стонет.

Однако когда у нее спрашивают, беспокоит ли ее что-нибудь, она отвечает нет.

Говорит, что плохо спала, потому что забыла принять свой Лексотан, проспала до двух часов ночи, проснулась, поняла, что не приняла Лексотан.

Приняла его, но потом плохо спала.

Сейчас она на кухне и ест хлопья.

У нее осталось немного волос на голове, это у нее-то, а ведь она была такой кокеткой. Она была такая красивая. Все это говорили. А я гордилась ею, моей матерью, такой красивой женщиной. И любила ее.

Она вышла из больницы. Она хорошо знает, что через это нужно было пройти. Знает, что старая, но говорит, что не верит в это. Она хочет жить.

Также знает, что ей придется снова лечь в больницу, чтобы сделать операцию на сердце. Говорит, что это очень простая операция. Ожидая ее, она ковыляет по квартире. Кожа да кости.

Она ждет домработницу Патрисию. Ей нравится эта домработница, нравится ее веселый нрав, нравится, когда она приводит своих сыновей и готовит на четверых, она слышит смех. Ей это нравится.

Она не очень поняла, когда придет Патрися, сегодня или завтра, потому что даже со слуховым аппаратом телефон для нее – пытка. Она что-то слышит, но что? Чаще всего она угадывает. Иногда удачно, иногда нет. Поэтому она живет в неопределенности.

Когда она вышла из больницы, кардиолог сказал ей, ведите себя тихо до операции. Да, тихо. Да и как еще? Она ковыляет. Дышит с трудом, из-за аорты. У нее сузился просвет аорты. Она постоянно засыпает. Просыпается. Чуть-чуть ест. Существует.



Она встает, ест, моется, вот уже несколько дней сама может залезть в ванну и вылезти из нее.

Ест. Ложится на диван. Спит. Просыпается.

Немного разговаривает со своими двумя дочерьми, которые рядом с ней. О том о сем.

О всякой ерунде.

Да и что тут скажешь.

Разве что после операции. Возможно.

Женщине дали отсрочку. Она выжила. Она это знает, она выжила и будет жить дальше. Ее срок еще не пришел, так она говорит.

Не знаю, так ли она думает про себя, потому что ее стоны и то, что она говорит «не знаю, не знаю», не зная, что произносит это вслух, говорят о другом.

Пока она не попала в больницу и не вышла, чтобы готовиться к операции и снова лечь в больницу, я была с ней.

Она была очень больна, и мне было страшно, страшно, что она перестанет дышать, сидя передо мной, в своем кресле.

Она уснула, и было слышно, с каким усилием бьется ее сердце, я смотрела на нее и думала, мама, дыши, не сдавайся, дыши.



Не оставляй меня, пока не оставляй. Я еще не готова, и, возможно, никогда не буду готова.

Ее дыхание стало таким тяжелым, что ее пришлось отвезти на скорой в больницу. Там ее подлечили, чтобы она протянула до операции.

Об операции всё время говорят, что в ней нет ничего страшного. Но эта кожа да кости, три волосины, потухший взгляд – выдержит ли она. Поживем – увидим.

Я всегда говорю, поживем – увидим. Говорю, поживем – увидим, и думаю, что может произойти всё что угодно. А здесь есть всего две вещи: жизнь или смерть.

И если жизнь уйдет, она тоже уйдет вместе с ней.

Ребенок родился сразу стариком, ребенок так никогда и не стал взрослым. Он развивался в мире взрослых как ребенок-старик, и у него плохо получалось. Ребенок-старик говорил себе, что если его мать умрет, ему будет некуда вернуться.

В отрочестве ребенок пустился во все тяжкие, затем, повзрослев, занимался черт знает чем, но всегда знал, что может вернуться.

После того как умер отец, он мог вернуться к матери.

Когда ребенок возвращался, всегда измученный взрослой жизнью, которая давалась ему с трудом, он ложился на диван и несколько часов спал. Потом, чуть менее измученный, он ел.

Ребенок – девочка, то есть я. И теперь я старая, мне исполнится шестьдесят. Даже больше. А я всё там же. У меня нет детей. Ребенок-старик не завел ребенка. Что потом будет удерживать меня в жизни?

Смогла бы я жить, чтобы спать, вставать, есть, ложиться. Я забыла о радио. Я слушаю радио. Время пускаться во все тяжкие прошло. И я рада, что солнце садится, тогда я ложусь спать.

До операции остался месяц.

Так она вчера сказала.

Но сегодня она устала уже утром после завтрака.

И легла на диван.

Когда я зашла посмотреть, она сказала, я устала от еды.

Но разве я не имею права отдохнуть? Я сказала ей, это не право, это обязанность.

А я? Продержусь ли я здесь месяц?

Меня держит только то, что я пишу. Жить здесь или в другом месте – какая разница. Моя жизнь? У меня нет жизни. Я не сумела себе ее устроить. Поэтому здесь или где-нибудь еще – неважно. Но где-нибудь еще всегда лучше. Поэтому я всё время приезжаю и уезжаю, и снова возвращаюсь.



Сначала я уехала в маленькую белую комнату в Париже, где было холодно.

Потом в другое место, где было жарко. Затем еще дальше, в очень большой город по ту сторону Атлантики, где мне удалось наконец отдышаться.

Мне было хорошо. Я жила. Открывала жизнь и других людей, хотя, бывало, бродила по улицам ночи напролет, потому что мне было негде спать. Хотя большую часть времени было где. Люди принимали меня у себя, и я могла спать, мыться и даже есть. Я навестила этих людей

в этом году, они не изменились. Такие же гостеприимные. До сих пор спрашивают себя, как я к ним попала. Я тоже спрашиваю. Это остается загадкой.

Там, где было жарко, я чуть не вышла замуж из-за жары и потому что не знала, куда себя деть, и была ни на что не годна, поскольку сняла плохой фильм. Тогда почему бы не выйти замуж? По крайней мере, сделать кому-нибудь приятное, моему отцу, например.

Когда я спросила отца, почему он так хочет, чтобы я вышла замуж, он сказал, чтобы за тобой ухаживали, когда ты заболеешь. Откуда он узнал, что я буду болеть, сильно болеть, спрашивала я себя.

Может быть, он это говорил просто так, потому что сказать было нечего. Но он ухаживал за своими больными сестрами, поэтому думал, что все женщины болеют. Однако его мать была сильной. Только после войны она не выдержала. Всю войну мой отец выходил из погреба, в котором они прятались, шел на работу, не носил желтую звезду, знал, что лучше не носить, и она держалась.

Когда война закончилась, всё изменилось. Словно во время войны она исчерпала все свои силы. Так, по крайней мере, я себе это представляю. Никто мне этого не подтвердил. Но, видимо, так и есть. Мне говорили о климаксе, о диабете. Но это было другое.

Мой отец не говорил о своей матери, одна из его сестер говорила, чтобы подчеркнуть, что она ее обожала. Это единственная сестра в семье, вышедшая замуж не за еврея, у нее были на то свои причины. Она его любила. И продолжает любить. И они друг друга лечат. Это моя молодая тетя и мой молодой дядя. У них полно всяких болезней, но каждый раз они справляются, потому что лечат друг друга.

Моя тетя обожает свою внучку. И та ее тоже обожает. Она недавно вышла замуж и родила ребенка. Моя мать показывала мне фотографии. Она вышла замуж за вьетнамца, и это немного заметно в ребенке, но все очень довольны.

К счастью, я не вышла снова замуж, потому что уже давно овдовела бы, а вдовство – это навсегда. Так мне сказала мать, сама вдова, она заявила однажды, ни в коем случае не выходи за кого-то старше тебя, даже если это хороший и честный человек. Я осталась одна, и так и будет. Мне нравятся молодые, и я не хочу замуж за старика, чтобы стирать ему носки. Это такое выражение, у меня теперь есть стиральная машинка, чтобы стирать белье. Но страшно себе представить, каково это: очутиться ни с того ни с сего в одной постели с немолодым мужчиной, с которым вы не старели вместе. Мне бы хотелось иметь просто друга. Кого-то, с кем выходить, ходить в театр, даже на танцы, почему нет. Молодежь любит танцевать, я тоже. На свадьбах, да где угодно, мне нравится танцевать, а когда я танцую, я чувствую себя собой. Особенно если танцую часами. Это полезно. Я бы хотела быть танцовщицей или певицей, или даже пловчихой, или музыкантом, но я никогда ничем таким не занималась.

Поэтому я рада, что моя внучка занималась этим, и мне хотелось бы, чтобы она что-то сделала со своей жизнью и особенно чтобы не осталась вдовой. У нее еще есть время, но кто знает.

Кто знает, что может произойти, а я знаю даже меньше других, потому что то, что со мной произошло, уже произошло, и кто вообще мог выдумать такое. Ну, кто-то должен был выдумать, иначе этого бы не произошло, это было хорошо организовано. Всё это было хорошо продумано и осмыслено, поэтому я себе иногда говорю, что осмысление – не всегда решение вопроса, даже если оно окончательное.

Моя взрослая дочь всегда просит меня об этом рассказать, но я не хочу. Знаю, что если расскажу, мне конец. Так мне, по крайней мере, кажется, моя взрослая дочь говорит, нет, наоборот. Нужно об этом говорить. Но она тоже ничего не говорит, я хочу сказать, о своей жизни. Как будто то, что она может рассказать, не рассказывают такой матери, как я.

Иногда я говорю себе, что это из-за того, что со мной произошло. Иногда – что совсем наоборот. Не знаю, что думать, и поэтому не думаю.

Впрочем, то, что со мной произошло, может снова начаться.

Ничего не кончилось. Всё может начаться снова. Как-то иначе, но всё равно начаться, особенно когда видишь, как люди спят на улице, и их всё больше и больше, я всегда отворачиваюсь, когда их вижу, отворачиваюсь, потому что не могу это видеть, и, хотя у меня большая квартира, я их к себе спать не позову. Иногда я думаю, что это было бы решением, но их слишком много, и они всё прибывают и прибывают. И они грязные, грязь – это нормально, но меня трясет от грязи, поэтому тоже я их не приглашаю. Хотя и знаю, что после хорошей ванны, в чистой одежде, поев хорошего супа, они снова будут чистыми, и что они не всегда были грязными.

Но я не выношу эту грязь. Мне это знакомо, и я не хочу больше об этом слышать. Тем более видеть, ни у себя дома, ни у других.



Это разрывает мне сердце, и, даже не задумываясь, я отвожу глаза, когда вижу такое на улице и когда захожу в некоторые кварталы, особенно в тот квартал в Париже, где живет моя дочь, и когда я вижу грязные матрасы на улице, у меня сердце разрывается, и я спрашиваю дочь, как только она может выносить такое. Она отвечает, что она тоже с трудом это выносит, старается не смотреть, особенно когда идет дождь и серо. Когда светит солнце, на это легче смотреть, потому что матрасы залиты солнцем и пятна не так заметны. Да, говорю я себе, не так, но запах-то остается. В жизни есть не только зрение, но и запах. И запах иногда еще хуже. Кроме запаха цветов. Но только не когда их надолго оставляют в воде, не меняют ее и забывают их. Цветы забывают, а они начинают как-то странно пахнуть. Тогда их выбрасывают без сожалений. Или вот мясо. Иногда запах мяса тоже вызывает тошноту. В этом случае его нельзя есть, даже если вы страшно голодны. Ни в коем случае нельзя есть, даже если вы умираете от голода, и это ужасно.

Теперь она редко хочет есть, но она знает, что должна есть, чтобы набрать вес и поддерживать здоровье, тогда мы часами говорим о том, что она могла бы съесть для аппетита, и всегда приходим к одному и тому же заключению: нужна селедка с луком или селедка в масле, или соленая селедка, неважно что, лишь бы селедка. Она также любит маленькие серые креветки, но в салате, под легким майонезом и со свежим луком, и чтобы майонез был соленый и перченый, а то у нее не будет никакого аппетита. А еще есть мягкий сыр. Она не знает, что бы она делала без мягкого сыра, и в списке покупок первым пунктом всегда идет мягкий сыр.

Я тоже люблю мягкий сыр, но из-за постоянных разговоров о нем почти разлюбила. Больше всего я люблю то время дня, когда я чувствую, что у меня есть жизнь, когда я быстрым шагом иду купить сигарет. Внезапно я становлюсь человеком. Свободным человеком, у которого есть дело. А сегодня особенно, потому что после стольких серых дней выглянуло солнце.

А еще мне нравится записывать то, что происходит, даже если не происходит ничего. Тогда я тоже чувствую себя человеком, у которого есть дело, даже если ничего не происходит. Но что-то всё же происходит, всякие мелочи.

Телефон звонит. Звучат слова, пара слов. Тишина. Иногда раздаются вздохи. Шум соседей. Лифт застрял. Мусор убирают. И опять слова, мы перекинулись парой слов.

Приехала моя сестра. Я ее уже давно не видела, но она снова уезжает. У моей сестры есть жизнь. Она знает, что такое – радоваться жизни. Смотрю на нее и думаю: как ей это удается?



Она радуется жизни с тех пор, как родилась. Она с ее маленькими нежными карими глазами. С ее кожей. Она круглая и улыбчивая.

Разве что разозлится иногда. Но это быстро проходит. И заводится она быстро, когда ее что-то злит. Она не ждет годами, как я. Я годами жду, прежде чем сказать, что что-то меня разозлило или даже заставило ужасно страдать. Кроме того, мне нужен повод. Посторонний повод, не имеющий отношения к делу. Тогда я могу разозлиться. Когда я разозлюсь, мне кажется, что это ужасно, что я кричу, даже ору, и что мир вокруг меня сейчас взорвется. Когда-нибудь мой гнев кого-нибудь убьет. Да, мой гнев огромен, когда я завожусь. Мне от него плохо, и чаще всего он застревает у меня в горле.

И когда я говорю, видишь, как я разозлилась, как я громко кричу, Л. смеется. Это ты называешь кричать? Да. Тогда Л. смеется еще больше, а мне нравится смотреть, как она смеется. У нее безумное чувство юмора, кроме тех случаев, когда я хочу ее рассмешить. Тогда ничего не получается. Иногда она даже злится из-за этого, и я понимаю почему. Ненавижу, когда ее это злит, и не знаю, куда деться, хотя я ничего не сделала, просто перегнула палку. Я никогда не кричала на Л., только два раза, да и тогда я была пьяна. Я не понимала, что пьяная, и при этом думала, что стала свободной. Но нельзя стать свободной, когда ты пьяная, это только видимость, и тогда на несколько минут, несколько часов, несколько дней иногда возникает чувство свободы. А потом оно исчезает, и начинаешь себя спрашивать: а что, и вправду нужно было разбивать человеку сердце, чтобы насладиться несколькими секундами свободы, которую я теперь называю свободой иллюзорной?

Когда что-то неважно, тогда я могу немного покричать, даже если на самом деле это неважно, и очень горда, что могу. Но когда речь идет о чем-то важном, гнев застревает во мне, и я устаю. Он обращается против меня, и я настолько устаю, что иногда по нескольку дней лежу в постели, спрашивая себя, почему я так устала, ведь я же пью витамины. Говорю себе, наверное, это моя анемия. Я, бывает, даже иду к врачу, и он заставляет меня сдать анализ крови, и в крови у меня всё не так, но это обычное дело, однако врач всё равно хочет сделать мне несколько уколов. Я спрашиваю у него, не сделать ли мне вообще переливание крови. Он говорит, что нет. Иногда он говорит, что я должна как следует подумать, просто так переливание крови не делают, кроме того, даже если вы смените кровь, ваша всё равно вернется, и тут мне становится легче. На самом деле мне не хочется переливать кровь.

Не знаю почему, но я дорожу своей кровью. Это темное чувство, и мне не хотелось бы выставлять его на обозрение. Я уверена, что, выставив его, я выставлю на обозрение что-то такое, что мне в себе не нравится, так что пусть остается в темноте. Лучше оставить его в темноте, по многим причинам. Хотя порой я говорю себе, что надо искать правду, но какую? Это очень важно. В книгах и фильмах сразу чувствуется, когда в них есть правда. Даже когда она не проясняется – тогда особенно остро чувствуется. Когда она не проясняется и когда чувствуется, что она там есть, что-то происходит, подспудно и медленно, порой очень медленно, когда вы даже об этом не думаете, и вдруг раз – и эта правда проявляется, и это удивительный момент, он не всякий день случается, и это хорошо, так хорошо, что вдруг чувствуешь себя легко и спокойно.

Завтра сестра уезжает. Я уже сейчас боюсь ее отъезда. Я останусь одна с матерью, которая при первой возможности хватает мое лицо, чтобы поцеловать с умиленным видом, таким умиленным, что я отворачиваюсь. Кроме того, она ужасно сентиментальна. Мы с сестрой ее останавливаем. Заранее.

Тогда она говорит, мне здесь даже поговорить не дают. Но почему-то, уж не знаю почему, ее не хочется слушать. Или если мы смеемся, и она говорит, ну да, смейтесь надо мной, смейтесь. Но нам нужно смеяться. Смеяться, как сумасшедшим. Иначе весь этот поток сентиментальности обрушится на нас, и мы не будем знать, что с этим делать, а это тяжело.

Порой тяжесть длится часами. Ни мне, ни ей это не нравится. Это перебор. Но мать это обожает. Словно это вызывает к жизни любовь.

Может быть, это и есть любовь, не знаю. Наверное. Какая-то такая любовь. Не знаю.

Иногда я говорю себе, что матери нужно подарить собаку. Но она не хочет собаку из-за дождя и потому что боится упасть.

Я нашла себе маленькую комнату в большой квартире матери, чтобы писать в ней, запершись. Комната забита вещами. Мне это не мешает, даже наоборот.

У меня есть убежище. Я пишу и курю, открыв окно.

Нельзя, чтобы она почувствовала запах дыма, говорит сестра, тогда ей тоже захочется курить, а с ее сердцем это конец.

Сегодня сестра отвезла ее к парикмахеру. Это ее первый выход после больницы, и сразу – к парикмахеру.

Ей было невыносимо смотреть на себя, такую растрепанную.

Да, у этой женщины, которая была такой красавицей, осталось на голове всего несколько волосинок. Наверное, ей тяжело больше не быть красавицей. Я понимаю. Я почти всегда всё понимаю, хотя мне порой хотелось бы не понимать.

И тогда у меня болит сердце.

А затем снова за стол.

Обед.

Она еще не села за стол, а уже спрашивает, что мы будем есть завтра. Она имеет в виду, когда сестра уедет. Но не говорит.

Ей хочется верить, что я не смогу ей готовить.

Я говорю, что смогу, тогда она говорит, что обычно, когда я приезжаю, готовит она, и снова пытается меня обнять, когда я прохожу мимо, а я уклоняюсь и внезапно чувствую себя жестокой, даже глупой. Что здесь такого в конце концов, почему бы не дать себя обнять, ей бы было приятно.

Но трудно видеть вот так, черным по белому, то, почему я осталась ребенком-стариком. И почему не смогла устроить свою жизнь.

И спасает только письмо. Опять.

Но когда я пишу, я опять пишу о ней, и это не освобождение, как представляют себе люди, которые не пишут. Нет, не освобождение. Не настоящее.

За столом у нее закрываются глаза.

Да, парикмахер ее утомил.

Сразу после этого она прилегла на диван. Спит.

Мне тоскливо. Это пройдет. Завтра. И даже если мне тоскливо, я не буду отвечать на письма С. Я считаю себя сильной. И приказываю себе ничего не делать. Но когда писем нет,

я их жду и не думаю о С., которая тоже должна ждать вот так, ждать писем, думаю только о себе, о том, как я умею бороться.

Теперь, перечитав письма, которые она мне посылала тогда и потом, я испытываю сожаление. Не о нашем разрыве, нет. О том, что не сказала правду в ответ.

Я только и делаю, что сожалею, и хотела бы ей об этом сказать. Но я знаю, что уже слишком поздно, и что, вероятно, лучше ничего не говорить, и что на этот раз мне надо подумать о ней, а не о себе.

Я только и делаю, что сожалею, но лишь о письмах, а не обо всем остальном.

Это был наш первый разрыв, и я должна держаться.

Я держалась некоторое время, а потом она приехала ко мне, когда я ее не ждала, и я не смогла сказать «уйди». Сказала только, что ты здесь делаешь? Я не была рада. Но она сделала вид, что так и надо, и вошла.

Не надо было ей открывать.

Моя мать появляется в маленькой комнате.

Иди сюда. Я тебя раздражаю?

Нет, дело не в этом, у меня проблемы.

Но ты должна их решить. Да, я решу.

Я легла спать.

Я прячусь то в одной комнате, то в другой, и мне становится стыдно, что я прячусь.

Иду в комнату, в которой она сидит. Пытаюсь найти тему для разговора. Спрашиваю, ты дочитала свою книгу?

Нет, не могу дочитать, глаза болят. Плохо вижу.

Мне не следовало спрашивать, дочитала ли она книгу. Следовало догадаться, что будет что-то такое.

Стою там несколько секунд и опять иду прятаться. Потом, даже спрятавшись, чувствую ее присутствие, говорю себе, тогда какой смысл прятаться. Нужно вернуться в комнату, где она обычно лежит или полулежит. Но от этой мысли сердце у меня сжимается.

Сердце сжимается, выступают слезы. Вытираю их.

Возвращаюсь, как на похороны.

И мне опять стыдно.

На какой-то момент неизменная организованность моей матери меня захватывает. Два-три дня от нее есть польза.

В холодильнике есть еда. Мы едим в установленное время, на чистой кухне.

Не так, как у нее, у нее никогда ничего нет в холодильнике, только в исключительных случаях, когда она решает зажить настоящей жизнью.

Это случается редко, и даже когда она так решает, ей не всегда это удается.

Выйти на улицу, зайти в супермаркет – всё это кажется почти невыполнимой задачей, как и позвонить кому-нибудь или пойти вечером куда-нибудь с друзьями.

Чаще всего, когда ей нужно вечером идти на встречу, уже с обеда она говорит себе, я не пойду. Я не могу пойти. Я не хочу. В конце концов она звонит и что-то придумывает, говорит, давайте на следующей неделе, точно не зная, получится ли у нее на следующей неделе или нет.



Иногда всё просто, и она идет, особенно если за ней заходят.
Но чаще ложится, пьет снотворное и засыпает.

Поэтому ее друг из Нью-Йорка, ее лучший друг во всем Нью-Йорке и, может быть, во всем мире, сказал ей, когда она рассказала ему о своем новом знакомстве, это фантастика, у тебя будет новая жизнь, ты сможешь начать всё с начала. Но она так молода. Ну и что. Я с ней только познакомилась и не рассказала ему как. Мне неловко. Я говорю, она красивая, невероятная, умная, тогда, говорит он, приходите вместе. Придем.

Она похожа то ли на чернослив, то ли на ягненка, я пока не решила на что.

Ты ее любишь? Мне кажется, да. Да, думаю, что люблю. Может быть. Не знаю.

Она меня слушает.

Я постоянно с ней говорю.

А не следовало бы.

Всё началось с лекции о скорости света и Хиросиме. Тень мертвых тел, упавших на землю, отпечаталась на стенах города, рассказывал профессор физики из Ниццы.

И тут я вдруг сказала себе, что должна сделать что-то подобное в моих визуальных работах. Обязательно.

Потом сестра приехала из Мексики и завела мне фейсбук.

Так всё и началось.

Я увидела, что люди говорят о тенях, и присоединилась.

Когда тот важный профессор вышел из зала, мне захотелось с ним поговорить. Но у него был вид человека, который не хочет разговаривать. Возможно, выгляди он иначе, ничего бы не было. Возможно. Не знаю. Возможно, я воспользовалась поводом, чтобы заговорить с незна-

комым человеком. Но не думаю. Разговор был оживленным, и на следующий день я его продолжила. Да, на фейсбуке. Я попыталась ее найти. Но фейсбук сыграл со мной злую шутку. Этого разговора больше не осталось, а память у меня короткая.

В любом случае в какой-то момент разговор изменился. В нем больше не фигурировали тени, в нем всё больше было «пока», «целую», «и я тебя», «и я». Ну что еще, пока всё. Пока да, но через мгновение всё может измениться, и я писала, дрожа, и ждала, пока она проснется. Сидела перед компьютером и вдруг видела, как возле ее имени в левой части экрана загорается зеленая точка, и всё начиналось сначала. Это было увлекательно, трогательно, быстро. И развивалось всё быстрее и быстрее. И я была счастлива. Так счастлива, что даже не верится. Это могло бы так и продолжаться, мы бы просто писали друг другу. Могло бы, и, скорее всего, я была бы всю жизнь счастлива, но однажды мы захотели встретиться. Это могло бы остаться желанием, и мы бы писали друг другу без конца, как мы этого желаем и почему. Я была так счастлива, и, по-видимому, мне этого хватало, но я, как и она, чувствовала в своем теле и везде это желание ее увидеть, и у нее было то же самое. Мы уже рассказывали друг другу, как поцелуемся, когда встретимся, и чувствовали эти поцелуи, и этого могло быть достаточно. Я ожила. В нетерпении вставала утром и перечитывала нашу переписку, ложилась спать, обмениваясь с ней словами, она посылала мне стихи и песни, и мне казалось, что мне пятнадцать, это в пятнадцать друг другу посылают песни и стихи, я слушала песни и пела, особенно *My Funny Valentine* и *Bang Bang*. Грустные песни, которым я громко подпевала.

Я без остановки пела песни, и на этом всё могло бы закончиться, сердце билось, и тело жило. Как же я была счастлива. Даже спрашивала себя, была ли я когда-нибудь так счастлива, и всё чаще кто-нибудь из нас говорил, хочу, хочу, хочу тебя увидеть.

Однажды это произошло.

Она написала мне, посмотрю, нет ли у меня пары свободных дней на следующей неделе, чтобы приехать с тобой повидаться. Думаю, так будет лучше для нас обеих. Не смотри больше новых друзей на фейсбуке, а то я ревную. Шучу.

Крепко тебя целую.

Мне еще тогда надо было насторожиться, но я подумала, что это юмор, и засмеялась. Если бы я знала.

В последнюю минуту она не смогла приехать из-за проблем со здоровьем. Меня это слегка успокоило. У нее был абсцесс в неудачном месте. У нее такое иногда бывало.

Я немного успокоилась, сама не зная, почему, но, вероятно, я уже догадывалась.

После она мне сказала, приезжай лучше ты. Я согласилась, потом отказалась. Я болею. Тебе будет тяжело это переносить. Она сказала, нет, она много чего может вынести, и то, что я болею, тоже вынесет, и много чего еще. Я должна была насторожиться, когда об этом так спокойно говорят, это не всегда правда, особенно когда говорят, что много чего могут вынести.

А потом кто-то мне сказал, ну же, чем ты рискуешь? И я отправилась в Англию. Она там жила. В Лондоне во второй зоне. В районе с одинаковыми домами.

Не надо было мне туда ездить.



Сегодня мать проснулась вся в слезах. Рыдала так, что сердце сжималось от боли. Почти кричала. Я сказала себе, иногда лошади так ржут. Но я плохо разбираюсь в лошадях. Я почти ничего не знаю о природе. Но я знала, что на природе легче дышится, и сказала себе, надо обратиться на природу. Но не знала куда.

Я знала, что это я виновата в этих рыданиях. Мне казалось, что я всегда во всем виновата, даже если это не так. Но в этот раз это было так. Мне было невыносимо там находиться, я пряталась, избегала ее, и она это чувствовала.

Тогда я заставила себя быть любезной и нежной, и она почти успокоилась.

Я обошла с ней квартал, крепко держа ее за руку.

Ноги ее плохо держали, и мы шли потихоньку.

Это был первый солнечный день, и она не выходила из дома уже семь недель.

Сделав несколько шагов, мы уселись на террасе на солнце. Это был перекресток, полно машин, проезжавших мимо. Она подставила лицо солнцу, закрыла глаза. Она была красива, она была счастлива.

Сказала, это полезно, это хорошо. Мне так нужно солнце.

Да, это полезно, сказала я.

Солнце светило сильно, и я начала потеть, мне надоел перекресток и пыль. Но она, она не потела, она впитывала солнце.

Подставила ему лицо и закрыла глаза. Она почти улыбалась. У нее был ужасно довольный вид. Из-за солнца.

Она надела солнечные очки, так ей посоветовал ее окулист, из-за сухости в глазах. Она всегда делала всё, что рекомендовали врачи. Но я хорошо видела, что глаза у нее закрыты, а лицо повернуто к брюссельскому солнцу.

Я сказала, пойдём. Она сказала, ещё пять минут.
Я ничего не стала говорить, я ждала. Ждала, пока время выйдет.
Наконец, мы поднялись, она на своих слабых ногах, и я, вся в поту, и пошли домой.

Она сказала мне, что я от нее бегаю.
Я сказала себе, надо же, она заговорила. Наконец-то сказала правду.
Я была рада.
Она не говорила мне, люблю тебя.
Я вздохнула с облегчением.

В больнице, когда я пришла к ней, когда она ночью упала с кровати, это было через год после операции на сердце, которая прошла хорошо, несмотря ни на что, хотя была болезненная, итак, после этой операции, уже не знаю когда, всё смешалось, она упала с кровати и должна была снова отправиться в больницу, и это там она мне сказала с такой злостью, что я чуть не упала, я не могу тебя видеть в грязной блузке, сказала она, я тебя сейчас ударю, сжав кулаки и наступая на меня, словно действительно хотела меня ударить.

Я тогда сказала себе, она, должно быть, копила эту злость годами. Что все эти поцелуи, которые она мне давала и которых требовала от меня, были только из-за этого. Она меня стыдилась. Я, моя небрежная одежда, непричесанные волосы, всё это ей не нравилось, причиняло боль. Это не сочеталось с тем, что ее успокаивало. С гладким миром. Очень гладким, в котором нет неглаженных блузок и неприятных сюрпризов.

Она хотела ударить меня и сказала об этом. Я была рада, сама не зная почему, я чувствовала, что случилось что-то настоящее. Думала, что упаду от удивления, но была рада.

Это было хорошо, я это чувствовала. Улыбнулась. Не при ней, после. Она меня стыдилась, и она сказала об этом, хоть раз.

Статьи обо мне, мои фильмы немного компенсировали это чувство, но не до конца. Она вырезала статьи из газет и хранила их. Но лучше было бы, если бы я была аккуратно причесана. Да, гораздо лучше.

Я не могу больше видеть эти туфли, говорила она иногда, когда я приходила в старых туфлях.

И этот пиджак не могу видеть.

И в ресторане, когда я макала палец в соус, мне казалось, что она сейчас взорвется.

Я говорила, отстань от меня. Нет, я от тебя не отстану.

Мне страшно хотелось макнуть палец в соус. К тому же в ресторане, в ресторане на углу, сидели ее знакомые, и она стала усиленно целоваться и обниматься с ними.

Затем принялась рассказывать мне о них. Нет, не о них. О том, что они ее любят и знали ее еще совсем молоденькой, когда она была такая красивая.

Эти ее знакомые были такие же старые, как она. Старые евреи, хорошо одетые и более здоровые, чем она.

Они не были бывшими узниками концлагерей. У женщин хватало волос на голове, и слышали они лучше, чем моя мать.

Все эти люди давали советы. Они во всем разбирались лучше нее, у большинства дети были врачами, это они давали им советы.

То есть это были подкованные люди. Они знали истории о сердце, об инсулине, о диализе. Они обожали об этом говорить. Иногда и о других вещах тоже. Но редко. В конце они сказали с врачебной интонацией, со слабым сердцем не летают в Мексику повидаться с детьми и внуками.

Кардиолог ей этого не запрещал.

Впрочем, она не очень расслышала, что он ей сказал. И потом, говоря о ее клапане, который сжался, он сказал, в вашем возрасте это нормально.

В самолете у нее случился первый приступ. Этот приступ ее спас. На борту был молодой врач, и он сразу сказал, что ее надо оперировать. Это ее спасло. Сестре даже пришлось подняться за ней на борт самолета.

Вскоре после этого ее отвезли в больницу в Брюссель, где прооперировали, и это ее спасло. Без этого ее аорта, возможно, продолжила бы потихоньку сужаться, она бы этого не почувствовала, и это было бы навсегда, всё было бы кончено. То есть ей повезло, очень повезло, но этим дело не кончилось. Однажды, когда казалось, что всё идет хорошо, и я была рядом, спала в соседней комнате, плотно закрыв дверь, я услышала как будто раскат грома, взрыв.

Я встала и нашла ее лежащей на полу, на спине, она упала. Ее изломанное тело на ковре рядом с кроватью. Скорее всего, она встала в туалет, у нее что-то подвернулось, и она упала. Я была в ужасе. У тебя что-нибудь болит? Она не знала. Давай, помогу тебе лечь обратно. В постели она ничего не чувствовала. Может быть, ничего страшного не случилось.

Я накрыла ее одеялом. Опять спросила, не болит ли у нее что-нибудь. Нет, сказала она, ничего не болит. Я опять легла спать. Беспokoилась, хотя и не сильно. Но всё равно ужаснулась. Сказала себе, что на этот раз обошлось, но, если с ней еще что-то случится, это может быть ужасно. Она ударилась головой, а что бы было, если бы она ударилась сильнее? У меня билось сердце, когда я лежала в кровати, потом успокоилось.

Час спустя она закричала от боли, и я снова отвезла ее в больницу. С того дня она не может пользоваться левым плечом.

И это тогда в больнице она погрозила мне кулаком.

Я так ее любила, мою мать, когда она была молодая.

Ее, ее молодость, красоту, платья. Особенно одно, летнее, с широкими золотисто-оранжевыми полосами. Она блистала. Она звала меня и просила застегнуть молнию на платье, и я это обожала. Потом спрашивала, ну как, идет платье? Да, ты очень красивая. Это платье очень тебе идет. К твоим черным глазам.

И я с ней разговаривала, рассказывала всякую ерунду.

Часто я убегала, особенно от матери. Меня находили. Кто-нибудь всегда меня находил.

Я ее любила. При этом я не могла есть. Всё время пачкалась. И часами бродила вдоль пляжа.

У нее еще был купальник из миткаля в сине-белую клетку. Сидя на песке, мы спорили. Я хотела брата. Будет у тебя брат или сестра.

У меня есть сестра, и я об этом не жалею. Но вначале я была немного разочарована. Совсем чуть-чуть. Потом сразу ее полюбила. Она была как чернослив.



Теперь она живет в Мексике, и мы часто созваниваемся по скайпу. Она не любит С. Говорит, она не делает тебя счастливой.

Но С. хотела, чтобы я была с ней счастлива.

С. нравится смотреть, как я смеюсь, как я люблю жизнь вместе с ней.

Однако всё получилось наоборот. Вместо счастья несчастье.

Но это было в Нью-Йорке. Раньше, когда мы виделись редко, несчастьем не было времени устояться. А в Нью-Йорке было.

Ей нравилось смотреть, как я смеюсь, а я больше не смеялась. Я плакала. Больше не разговаривала. Висело тяжелое молчание. Я больше не порхала от счастья. Я покинула свое тело, ее тело.

Как же я сразу не догадалась.

Мы смотрели телевизор, фильмы, фильмы по требованию. Перед телевизором с фильмами мы еще могли жить. Нам нужны были фильмы, чтобы жить. И иногда ласкать друг друга. И даже немного любить друг друга. Просто любить друг друга. И иногда спать. Редко. Нас мучила бессонница. Усталость, слезы. Потом мы улыбались, чуть рассеянно, уныло.

Я вспоминаю твою улыбку, когда я открыла тебе дверь в Лондоне, однажды сказала она мне. Это был прекрасный день благодаря твоей улыбке. Да, но тогда почему ты сказала, что тебе чуть не стало плохо, когда я в шутку сказала, что у меня есть только полсобаки? Я искренне не понимала. Я ничего не понимала, но насторожилась. Это я вызвала молчание. Позднее я поняла. Если у меня только полсобаки, значит, остальная ее половина принадлежит моей бывшей подруге. Значит, я от нее не избавилась, как она этого от меня однажды потребовала.

Такая ранимая, гордая, горделивая, робкая, цельная, слишком цельная, а я только и делала, что бередила ее раны. Я вставала и говорила: я тебя больше не люблю. Я не люблю тебя.

Это невозможно.

Возможно. Нет. Да. Нет.

Я же создала для тебя дом, сказала она однажды. Это была правда, но я этого даже не заметила.

Да, все эти курьеры, звонившие в дверь без конца, приносили вещи, чтобы создать мне дом, и когда в дверь звонили, я говорила: что, опять?

Она отдавала последнее. Я не знала. Я ничего не видела. Не видела даже ее красивого лица, теперь мрачного и трагического. Ни ее глаз с сужившимися зрачками. Ничего. Даже не оборачивалась больше в ее сторону. Да, не оборачивалась.

Она словно в увеличительное стекло разглядывала каждый мой жест. Изучала каждое мое слово, каждый телефонный звонок.

Она говорила, ты не догадываешься, что я знаю, что ты звонишь своим друзьям из Парижа и прочих мест, когда одна выходишь на улицу.

Я говорила, да, это так, но, если я буду звонить при тебе и скажу «тоже тебя целую», будет война. Я этого не выношу.

Только перед изображениями мы обнимались и после порой говорили до раннего утра или не раннего.

Потом пили кофе, пока у меня не сводило желудок.

Тогда ты приносила мне чай с ромашкой, иногда по несколько раз, с маленьким кусочком сахара, который доставил курьер.

После того как она вышла из больницы, она (моя мать) говорила со мной только о врачах, о болях и о том, кто приедет отвезти ее в аэропорт.

И кто будет собирать ее чемоданы.

Она уже была не в состоянии. На этот раз. Руки, деформированные артрозом, ноги тоже начали деформироваться.

Боль в бедре.

Глаза то слишком слезились, то недостаточно увлажнялись из-за сухости.

И каждый день укол в мышцу для костей.

Без этого из нее бы песок сыпался. Больше не человек, стоящий на ногах, а мешок с песком, лежащий в постели.

Но она будет держаться. Она это знала, и я тоже.

Я забыла польский, говорила она иногда ни с того ни с сего. Хотя у нее ничего не спрашивали. Ей просто приходило это в голову, и она говорила вслух.

Почему, не знаю.

Иногда ее об этом спрашивали. Случалось, что ее действительно об этом спрашивали. Иногда это были помощницы по дому, знавшие, что она родом из Польши, или другие люди, которые не забыли об этом. Но семьи, приехавшей вместе с ней из Польши, больше не было. Все умерли, так или иначе, ей было не с кем говорить по-польски. Поэтому она больше не знала польский. Недостаточно хорошо знала, во всяком случае. Разве что несколько слов, говорила она. Но я-то знала, что она знала больше, но по той или иной причине говорила, что забыла его.

Я, когда вижу поляка, тут же вставляю свои три слова по-польски, и поляки довольны, но на этом всё заканчивается, на трех словах далеко не уедешь, а когда я вижу русского, то вставляю свои десять слов по-русски, и я такая радостная и гордая, как будто единственная в мире знаю эти десять слов, и русские мне отвечают так, будто я знаю сотню слов, а я смотрю на них и киваю. У меня такой вид, как будто я что-то понимаю. Тогда русские начинают говорить

всё быстрее, и я начинаю сходить с ума. *Ya nie panietayoui* или *ya nie rosumié*, я не понимаю. Я уже не знаю, на каком языке говорю, на русском или на польском, а когда я слышу на улице иврит, то всё еще хуже. Я говорю *chalom ta nichmah*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.